

## **Аутвейт У. Законы и объяснения в социологии**

**По книге: Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. (Библиотека серии "Специализированные курсы в социологическом образовании"). М., 1996. -174 с.**

По сути, вокруг названного вопроса ведется два диспута. Первый - это диспут между философами науки о том, что такое научные законы. Второй - это спор о том, полезны ли такие законы для социологии и если да, то каково их применение.

Я буду рассматривать как непроблематичное утверждение о том, что социологи стремятся объяснить разные вещи, даже если понимать объяснение в предельно широком смысле, включающем в себя описание, понимание (в том особом значении, в котором это слово употребляется в социологии) и т.п. Многие представители социальных наук настаивали на том, чтобы отделить собственно объяснение от этих более широких трактовок. (Как мы увидим позднее, это часто происходило потому, что их концепция объяснения в значительной мере опиралась на идею научных законов.) Я, однако, хотел бы избрать отправной точкой ту концепцию объяснения, которую мы используем в повседневной жизни и которая объединяет множество различных способов объяснять. В частности, ответом на вопрос о том, почему что-либо происходит, например на вопрос: "Зачем они это делают?", нередко будет описание действий. Если вы спросите о причине конкретного скопления людей, зачастую вполне удовлетворительными будут ответы: "Это - футбольный матч", "Это - полевая обедня" или "Демонстрация...". Конечно, затем могут возникнуть другие вопросы, скажем, почему матч происходит на стадионе Б, а не на стадионе А, или, более фундаментально: "А что такое футбольный матч, обедня и т.п.?" В ответ на первый вопрос можно сказать, что стадион А - лучше или более соответствует целям данного мероприятия; что стадион Б - закрыт на ремонт или, что может показаться более интересным, что мэрия решила удержать участников мероприятия как можно дальше от центра города. Интересная структурная особенность последнего из приведенных объяснений заключается в том, что оно объясняет, рассказывая историю или, по

[129]

крайней мере, отсылая к возможной истории о процессе (или совокупности процессов), приведшем к объясняемой ситуации. Это, конечно, та самая форма объяснения, которую мы часто обнаруживаем в исторических повествованиях.

Объяснение второго типа, отвечающее на вопрос: "А что такое матч, обедня и т.п.?", повлечет за собой более полное описание структуры, целей и других черт объясняемых действий. Результатом могут оказаться ни много ни мало многотомные исследования по социологии спорта, религии, политической деятельности и т.п.

Таким образом, вопрос о том, что делает объяснение собственно объяснением или что делает его хорошим объяснением, оказывается весьма трудным, и может возникнуть необходимость в детальном исследовании не только логических свойств объяснения,

но и контекста, в котором оно дается. Вы, например, можете приобрести шуточный плакат, "объясняющий" структуру игры в крикет посредством обыгрывания слов "внутри" и "наружу". Плакат будет обладать формальными свойствами объясняющего описания, но понять его сможет только тот, кому правила крикета уже известны. Утверждение "Я был болен" имеет форму социально признанного хорошего объяснения для того, например, чтобы объяснить, почему не сдал в срок рукопись для данного сборника, но подозрительный редактор, воз-можно, пожелает узнать, насколько болен, как долго я болел и т.п.

Цель этих вводных замечаний - показать, сколь разнообразные формы принимает объяснение в повседневной жизни. Повторюсь, заметив, что ис-хожу из того, что мы согласны относительно необходимости или, по мень-шей мере, желательности объяснений в описанных смыслах. Вопрос, од-нако, заключается в том, могут ли законы помочь нам объяснить жизнь общества, или же они лишь сбивают нас с толку и отвлекают от искомого объяснения. Но прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно уточнить, что понимается под "законами".

В английском, как и во многих других европейских языках, термин "закон" применяется и к научным законам, и к правовым принципам, на-ходящим свое выражение в законодательных актах, конституциях и т.п. Напоминание об этом обстоятельстве не лишено смысла, так как оно сообщ-ает нам нечто существенное об истории самого термина. Принимаемые правительствами законы имеют своей целью установление порядка, регу-лярности (regularities) в общественной жизни, что и достигается, когда [130]

людям сообщают, что они должны делать и что - не должны, и грозят наказать в согласии с уголовным или гражданским кодексом тех, кто станет делать недозволенное. Следовательно, если существует Верховный Зако-нодатель, сотворивший мир, каков он есть, наблюдаемые нами в природе упорядоченности наверняка являются результатом того, что вещи повинуются "Его" воле, точно так же, как человеческие создания, в общем и це-лом, повинуются законам политических и религиозных сообществ, к кото-рым они принадлежат.

Идея "законов природы" начинает отделяться от этой, исходно теоло-гической, концепции примерно в семнадцатом веке, когда современная западноевропейская наука делает свои первые успешные шаги. Остаются, однако, две "близнецовые" идеи - регулярности и необходимости. (Слова "регулярность, правильность"<sup>2</sup>, конечно, обнаруживают связь со словом "правило", и мы до сих пор говорим о том, что неодушевленные предметы "повинуются" законам, например закону всемирного тяготения.) Регуляр-ность означает, что вещи всегда ведут себя тем способом, который описы-вается законом; необходимость подразумевает, что они почему-либо вы-нуждены так себя вести. Ну а люди, которых, начиная с девятнадцатого века, принято называть учеными, открывают такие законы и используют их для описания или объяснения явлений природы.

Но как только философы принялись за анализ этих законов, идеи ре-гулярности и необходимости перестали столь гармонично сочетаться друг с другом. С регулярностью особых проблем не возникало: любое исключе-ние из правил можно было объяснить особыми обстоятельствами. Но необ-ходимость стала изрядной помехой. Самый очевидный ход заключался в том, чтобы анализировать необходимость в терминах природы вещей и следующих из нее тенденций. Однако стало ясно, что этот путь ведет

либо к антропоморфизму - из-за уподобления неодушевленных предметов и явлений людям, принимающим решение что-либо сделать, - либо к тривиальному объяснению, не добавляющему ничего нового к исходному утверждению о том, что некая регулярность имеет место быть. Классический образчик критики упомянутой тривиальности - ирония Мольера, вложившего в уста комического героя утверждение, что опий оказывает снотворное действие на людей из-за присущей ему "снотворной силы" (*virtus dormativa*). Для доминирующего философского течения, называемого

[131]

эмпиризмом, единственным источником определенности стал чувственный опыт. Исходя из этого, Дэвид Юм (1711-1776) осуществил свой анализ причинных законов, который, в различных модификациях, остается самой влиятельной доктриной. Все, что мы можем наблюдать, и, следовательно, с точки зрения эмпиризма, все, что мы можем знать, это регулярное совпадение, смежность событий. Когда один бильярдный шар ударяет другой, причем сила удара достаточна и поверхность стола чиста, второй шар катится. Но идея о наличии необходимой связи между этими событиями, с точки зрения Юма, является просто привычкой человеческого ума. Позднее я еще вернусь к намеченной здесь философской оппозиции между "реалистами", подчеркивающими необходимость причинно-следственных (каузальных) отношений, и "эмпиристами", опирающимися исключительно на их регулярность.

В период становления науки в привычном нам понимании, т.е. в Европе и Северной Америке семнадцатого и восемнадцатого веков, эти различия в анализе причинных законов всячески сглаживались: существенным было то, что люди наконец открывают законы природы и даже законы, управляющие жизнью общества. Общественные науки в их современной форме развивались в тени наук естественных и в постоянном с ними соотношении. Нельзя сказать, что поступательное развитие естественных наук было таким уж гладким и непроблематичным. Философы науки, и особенно те, которые занимались философией социальных наук, склонны были принимать некую идеализированную картину развития естествознания, которая была изрядно подпорчена недавними исследованиями в области истории и социологии науки, вдохновленными в основном классической книгой Томаса Куна "Структура научных революций" (1962). Развитие

[132]

науки носит прерывистый, полный противоречий характер. В частности, противоречивым является статус самих научных законов. Альберт Эйнштейн писал в 1923 г.: "В той мере, в какой законы математики относятся к реальности, они неопределенны; и в той мере, в какой они определены, они не относятся к реальности". Эта же тема получила недавно дальнейшее развитие в провокативной книжке Нэнси Картрайт "Как лгут законы физики" (1983), где автор доказывает, что "действительно мощные объясняющие законы, вроде законов теоретической физики, не выражают истину". Остается фактом, однако, и то обстоятельство, что успехи естественных наук, если уж они случаются, приводят к драматическим изменениям в нашем понимании реальности, открывая сущности и механизмы совершенно недоступные обычному здравому смыслу.

Макиавелли и - что существенно, - даже его менее проницательные современники великолепно понимали суть властных отношений в обществе, но они не обладали и не могли обладать соответствующим пониманием, скажем, структуры атомного ядра. Даже самый большой скептик из числа историков науки не сможет отрицать "силу

откровения", пользуясь выражением Э.Гидденса, присущую современному естествознанию. Исходя из таких стандартов, нам следует решить лишь один вопрос: должны ли мы рассматривать общественные науки в качестве "умственно неполноценных" или, выражаясь политически корректным языком, нам следует трактовать их как "иначе одаренных"?

Диспут о статусе законов в социологическом объяснении неотделим, таким образом, от более широкого спора о том, насколько общественные науки должны следовать примеру естественных. Убеждение в том, что такое подражание неизбежно, составившее суть так называемого натурализма, вполне укоренилось уже к началу восемнадцатого века. В качестве своеобразного предвосхищения позднейших антинатуралистских аргументов можно рассматривать идеи Вико (1668-1744). Однако в действительности диспут начался в девятнадцатом веке, с возникновением противостояния между позитивистами и их критиками. Этот знаменитый диспут между позитивистами, по преимуществу английскими и французскими, и антипозитивистами, работавшими в основном в Германии, самым непосредственным образом подогрел споры, бушующие в англоязычной и прочих социологиях уже более двадцати лет<sup>4</sup>. Хотя характер аргументов, используемых

[133]

обеими сторонами, претерпел заметные изменения, основной вопрос остался прежним.

### **Исходный диспут**

Термин "позитивизм" известен своей многозначностью, но можно считать бесспорным, что первым его использовал Огюст Конт (1798-1857) для обозначения своих взглядов: источником обоснованного знания может служить исключительно научное наблюдение, а отдельные науки, включая и науку, для которой он изобрел название "социология", образуют единую иерархическую систему знаний. Идеи Конта имели в дальнейшем огромное влияние, примером чему может служить философская система Дж. С. Милля. В социологии это влияние оказалось даже еще более значительным. Вплоть до начала нынешнего века под "социологией" на деле подразумевали труды Конта и Герберта Спенсера. Особенно радикальным выражением позитивистского натурализма были теории, рассматривавшие общество как своеобразный организм. Антинатуралистские взгляды, однако, смогли создать сильное оппозиционное течение в философии истории, особенно в немецкоговорящих странах. И.Г.Дройзен предпринял отчаянную атаку на позитивистскую историю, в особенности на ее воплощение в трудах английского историка Г.Т.Бокля<sup>5</sup>. Антинатурализм Дройзена базируется на различении природы и духа (или разума), а также на своеобразии методов понимания последнего. Подразумеваемая здесь трактовка "понимания" (нем. verstehen), как чего-то качественно отличного от наблюдения природных явлений, была выдвинута Вильгельмом Дильтейем в его теории гуманитарных наук. В происходившем параллельно этому наступлении на натурализм Виндельбанд и Риккерт, занимаясь уже непосредственно проблемой метода, провели различие между генерализующим методом естественных наук и индивидуализирующим методом "наук о культуре" (истории, филологии и т.п.). Последние, как утверждал Риккерт, заинтересованы не в регулярностях, а в индивидуальных культурных

[134]

явлениях, каким-то образом соотносящихся с человеческими ценностями. С этой точки зрения, очевидно, стремление к точной науке о законоподобных регулярностях в общественной жизни, если и не ошибочно, то едва ли может служить фундаментом для изучения человеческой истории.

Термин "точная наука" оказался в центре происходившей в Германии дискуссии между "исторической школой" в экономике и теми, кто демонстрировал приверженность к более абстрактной форме экономической теории. Для исторической школы в экономике, как и для исторической школы в праве, очень существенным было положение о том, что экономические и правовые отношения должны рассматриваться как часть сложных исторических целостностей; они не могут быть абстрагированы из этого контекста и сведены к совокупности элементов, наподобие тех упрощающих анализ предположений о мотивах поведения, которые обычно можно найти в экономических теориях. Однако, отвергая поиск точных законов в экономике, историческая школа, как заметил ее критик Карл Менгер, проявила отменный энтузиазм по отношению к глобальным законам общественного развития. Другими словами, принимая во внимание позицию классического позитивизма, на словах превозносившего идею точной науки, по в действительности более заинтересованного в закономерностях человеческого развития, каждому была совершенно очевидна необходимость выбора между этими двумя направлениями. Современный позитивистский эмпиризм совершенно отвернулся от исторической сложности (и возможности обнаружить в этой исторической сложности какие-то законы развития) и стремится лишь упрощать, анализировать, абстрагировать.

Менгер занял некую компромиссную позицию, приняв существование двух подходов к науке: "реалистически-эмпирического" и "точного". Первый из них, индуктивный по своей природе, может вести только к приблизительным описаниям регулярностей; явления, таким образом, удастся упорядочить лишь посредством "реальных типов и эмпирических законов", не достигая уровня "истинных типов и точных законов". Но существует и другой, "точный" метод исследования, который "...стремится к установлению простейших элементов всего действительного. Он стремится к установлению этих элементов посредством анализа, который лишь отчасти является эмпирико-реалистическим, т.е. не принимая во внимание, являются ли сами эти элементы существующими в реальности

[135]

независимыми феноменами... Таким образом теоретическое исследование приходит к результатам... которые, вне всяких сомнений, не нуждаются в полномасштабной эмпирической проверке (так как обсуждаемые здесь эмпирические формы - например, абсолютно чистый кислород, чистый спирт, чистое золото, личность, преследующая чисто экономические цели и т.п., - отчасти существуют лишь в наших теоретических идеях)"6 .

Одной из центральных тем в противостоянии Менгера и Г.Шмоллера<sup>7</sup> стал анализ мотивов экономического поведения. Шмоллер критиковал "психологические" предположения классической экономики, на что Менгер замечал, что принятие эгоизма в качестве основного мотивационного постулата было всего лишь удобным упрощением: экономика не отрицает существование других мотивов, так же как теоретическая механика не настаивает на том, что не существует заполненного воздухом пространства.

Столь детальное обсуждение этой экономической дискуссии потребо-валось мне потому, что она была, по меньшей мере, одной из причин пред-принятой Вебером попытки разрешить споры, разработав концепцию "иде-альных типов". Эта концепция, введенная в социологию Зиммелем и Вебером, позднее стала центральным элементом в нескольких ключевых социологи-ческих подходах. Вебер принял, в широком смысле, Менгеровское разли-чение между историей и теорией или между "эмпирико-реалистическим" и "точным" подходами, но он предложил иное, чем Менгер, объяснение сути этого различия. Во-первых, различие между этими двумя подходами вос-ходит не столько к различиям в предмете, с которым они имеют дело (со-циально-историческая тотальность против отдельных аспектов, или сто-рон, действительности), сколько к различиям в познавательных интересах, исходя из которых мы изучаем какие-то явления. Так, "экономический" характер какого-то явления - это не присущее ему объективное свойство, а попросту функция нашего когнитивного интереса. Однако следует помнить и о том, что Вебер идет еще дальше, проводя различие между сугубо "эко-номическими" явлениями, явлениями "экономически релевантными" (на-пример, определенными аспектами религии) и теми феноменами, кото-

[136]

рые можно рассматривать как "экономически обусловленные", вроде социальной стратификации людей, составляющих аудиторию для произ-ведений искусства. Во-вторых, в основе этого различия между "систе-матическим" и "историческим" подходами для Вебера лежит даже более важное различие между теми типами знания, которые достижимы и жела-тельны с точки зрения естествознания, и теми, которые свойственны эконо-мике и подобным ей наукам. Ожидать, что из экономических "законов" можно вывести конкретные, количественные предсказания, - значит нахо-диться в плену "натуралистических предрассудков". Экономические "за-коны" могут иметь лишь идеально-типическую форму. Однако их непри-менимость к индивидуальным случаям не ставит под сомнение их эвристическую ценность. Социология, таким образом, является для Вебера генерализующей наукой в том смысле, что в отличие от истории она ищет "общие закономерности в происходящем"; социологические теории не столько состоят из законоподобных утверждений, сколько используют последние - условно и [по случаю. Социология - это, скорее, потребитель, а не производитель законов. К тому же, конечно, для того чтобы служить адекватным объясне-нием, эти закономерности должны быть "понятны". Они должны обладать "смысловой адекватностью" наряду с "причинной адекватностью" (в смысле достаточной эмпирической обоснованности). Хорошим примером этого может служить связь, которая, как думал Вебер, существует между протестантизмом и духом капитализма. Ссылаясь на факт якобы большей пред-приимчивости протестантов в их экономическом поведении по сравнению с католиками в начале европейского Нового времени, Вебер предлагает обладающее смысловой адекватностью объяснение этого факта в терми-нах их взглядов на религиозное спасение. Другой пример, используемый самим Вебером, это закон Грешема<sup>8</sup>, утверждающий, что плохие деньги вытесняют хорошие. Этот закон каузально адекватен в том смысле, что мы наблюдаем его действие в тех случаях, когда в обращении находится обесцененная валюта, но он также обладает каузальной адекватностью,

[137]

так как мы можем легко понять, почему для отдельных индивидов имеет смысл придерживаться хорошие деньги и избавляться от плохих.

Вебер, таким образом, рассматривал эмпирические регулярности как то, что подлежит объяснению, а не как объяснение само по себе. Адекватное социологическое объяснение всегда должно обладать свойством исторической конкретности и включать в себя ссылки на цели и ориентацию действия реальных, либо "типических" индивидов. Даже если последствия этих действий окажутся непреднамеренными, как в случае протестантской географии и "духа" капитализма, эти последствия не имели бы места, если бы индивидуальные деятели не поступали определенным образом, руководствуясь определенными мотивами. <...>

Законы и объяснения с точки зрения современной методологической ортодоксии Сопоставляя взгляды "отцов-основателей" социологии со спорами о законах и объяснениях, происходившими в середине XX в., нельзя не заметить куда большую ясность и детальную проработку собственно фило-софских концепций во втором случае. Можно доказать, однако, что это развитие не просто шло по ложному следу с точки зрения философии, но и оказало особенно пагубное влияние на социальные науки. В этом пара-графе я попытаюсь высвободить то, что я считаю собственно основным диспутом, из пут позитивистских предположений, в которых он до сих пор формулировался. Как я намереваюсь доказать далее, произошедшая замена позитивизма на реалистскую философию науки привела к пере-формулировке диспута, но не к его разрешению.

Пока вернемся, однако, в 1950-е и 1960-е гг , когда мало что могло составить альтернативу позитивистской философии науки, но крайней мере, в англоязычных странах. Корни позитивистской философии науки восходили к логическому эмпиризму Венского кружка 1920-х гг. Как ясно уже из самого термина, последний стал плодом интеллектуального союза между

[138]

эмпиризмом Юма и Маха и современной математической логики Фреге, Уайтхеда и Рассела. Научная теория рассматривалась в математических терминах, как интерпретация, или содержательная "начинка", совокупности формальных отношений между переменными. Как и контовский позитивизм, логический эмпиризм полагал, что науки формируют или стремятся образовать в будущем единую, гармоничную систему. Решающее различие состояло в том, что логические позитивисты были, как известно, редукционистами. Они были убеждены в том, что и язык, и, в конечном счете, законы всех других наук в пределе могут быть сведены к языку физики. И как бы они не представляли себе конкретное воплощение этой программы, ясно, что физика была наукой, больше всего подходившей к венской моде-ли математизированной теории. В результате возникла довольно любопытная ситуация, когда учеб-ники по философии социальных наук изобиловали примерами, взятыми из физики для того, чтобы проиллюстрировать, что же такое теории, за-коны, объяснения и т.н. В заключительных главах таких книжек можно было найти совокупность апологетических замечаний, касающихся недо-статочного уровня развития общественных наук, а также некоторые реко-мендации для увеличения степени строгости и точности последних. Проблема состояла в том, что социальные науки оказались внутри какого-то замкнутого круга. Их теории, законы и объяснения были неудовлетвори-тельны, так как используемые понятия были недостаточно точно опреде-лены. Но приблизительный характер понятий,

в свою очередь, был связан с отсутствием устоявшихся теорий. Ортодоксальная позиция по проблеме законов и объяснений, таким образом, была одной из тех орто-доксий, чья действенность обратно пропорциональна получаемой ими доле критического анализа. Общественные науки, как и все прочие науки, должны ориентироваться на поиск объяснений, а объяснения должны включать в себя охватывающие законы. Такова была идеология, оправдывавшая практику, которая на деле состояла преимущественно в кол-лекционировании эмпирических результатов. Все соглашались с тем, что результаты должны допускать обобщение, но это требование часто воспринималось как сугубо техническое и сводилось к специальным проблемам получения репрезентативной выборки и измерения статистической значимости полученных результатов. Заглянув в один из классических текстов этой традиции - "Поведение человека: опись основных

[139]

результатов"<sup>10</sup>, поражаешься, во-первых, крайней банальности большинства из 1045 "результатов" и, во-вторых, упорному нежеланию авторов серьезно обсудить статус этих "результатов". "На языке наук о поведении то, что мы здесь называем результатами, может также именоваться пропозициями, обобщениями, законами или принципами"<sup>11</sup>. Конечно, авторы стремились прежде всего не к систематизации социальных наук, а к энциклопедическому представлению достигнутых этими науками результатов, но их данные вполне очевидно являют собой продукт того, что Ч. Райт Милле назвал "абстрактным эмпиризмом". Все это вело к тому, что статус теорий в социальных науках оставался радикально неясным. Теории, как мы видели, должны были состоять из общих законов; они также должны были обладать свойством проверяемости - либо в терминах исходной позитивистской теории верификации-подтверждения, либо в согласии с влиятельной попперовской переформулировкой, требующей, чтобы научная теория могла быть в принципе фальсифицирована, опровергнута с помощью эмпирических доказательств. Эти два требования было трудно примирить. Довольно легко свести утверждения теории к упрощенной форме, допускающей проверку, но это не позволяло получить сколь-нибудь интересные общие законы. И наоборот: очень общие теории, подобные тем, которые были разработаны Т. Парсонсом, или, наконец, классические теории Маркса, Вебера или Дюркгейма не поддавались прямой проверке. В действительности здесь требовалось более изощренное понимание статуса теории, которое возникло, по моему убеждению, лишь в 1970-е годы. До этого времени то обстоятельство, что теории вообще существуют, было лишь своеобразным талисманом, наглядно гарантировавшим возможность генерализации и, с учетом господства ортодоксальной доктрины закона-объяснения, значимость получаемых эмпирических результатов.

Обратившись к работам самых рефлексивных представителей описываемой традиции, мы обнаружим ее различные модификации, в которых предпринимались попытки уменьшить дистанцию между методологической ортодоксией и тем, что действительно происходило в общественных науках. Роберт Браун<sup>12</sup>, например, сохраняя привязанность к концепции

[140]

охватывающего закона, отмечал, что социологи посвящают большую часть времени поиску открытий, а не поиску объяснений, а также, что изрядная часть предлагаемых ими объяснений не соответствует, по вполне основательным причинам, той строгой

форме, которая предполагается доктриной "охватывающего закона". Генетические объяснения, не опираясь на сколь-нибудь явные отсылки к законам, скорее стремятся показать, как нечто произошло, используя форму исторического повествования (нарратива), который рассказывает, каким образом все случилось. Объяснения, в которых содержатся ссылки на намерения, диспозиции и мотивы деятелей, также не всегда опираются на законоподобные обобщения. Если последние и используются для объяснения, то объяснения здесь сводятся к тривиальным утверждениям типа: если некто имеет основания поступить определенным образом и при этом обладает намерением или предрасположением сделать это, существует достаточная вероятность того, что он или она попытается сделать это. Сие утверждение невозможно анализировать в качестве причинной взаимосвязи, принимая во внимание, что для ортодоксальной доктрины причинные взаимосвязи могут существовать лишь между логически независимыми событиями, но все же оно годится на роль объяснения. Одна из модификаций ортодоксальной позиции заслуживает особого внимания. В своей классической форме она была выдвинута социологом Дж.Хомансом, а ее самым выдающимся защитником в настоящее время является У.Рансимен. Идея заключается в перекладывании ответственности с социологии на психологию, основанием для чего является утверждение, что последняя дисциплина служит источником законоподобных обобщений, которые, в терминологии Рансимена, "потребляются" социологией. Основанное на здравом смысле понимание человеческого поведения, формализуемое в утверждениях поведенческой психологии, снабжает все прочие социальные науки необходимыми объяснительными пропозициями. Мне эта позиция представляется совершенно неудовлетворительной, так как она основана на преувеличении научного статуса и диапазона применения психологических обобщений. Макс Вебер был, конечно, прав, настаивая на том, что объяснения рационального действия не несут в себе ничего специфически психологического. Впрочем, методологический индивидуализм Вебера и его устойчивое убеждение в том, что социологические объяснения должны в конечном счете формулироваться в терминах типичных

[141]

паттернов индивидуального действия, по меньшей мере, настолько же спорны и, на мой взгляд, ошибочны.

Против ортодоксии

Критические атаки на ортодоксальную позицию могут быть разбиты, очень огрубленно, на четыре типа. Первые три типа критики, которые я буду именовать идиографическим, герменевтическим и рационалистским, отрицают обоснованность этой позиции применительно к социологии, тогда как четвертый тип - реалистский - утверждает, что ортодоксальная позиция неверна по отношению к науке как целому. Таким образом, реализм позволяет переформулировать исходный диспут между ортодоксальной доктриной и ее критиками.

Суть идиографической критики уже обсуждалась применительно к Риккерт. Она сводится к тому, что "науки о культуре", в риккертской терминологии, занимаются не поиском общих законов, а объяснением индивидуальных явлений. Риккерт подчеркивал также, что понятия "науки о культуре" и ее противоположности - "генерализующего подхода" естествознания, следует рассматривать как идеально-типические, тогда как реальное исследование всегда включает в себя оба подхода, смешанные в некоторой пропорции. Легко показать, например, что объяснение индивидуального события,

скажем, русской революции, неизбежно будет включать в себя и ее соотнесение с другими революциями, и обсуждение общих тенденций социальных процессов, проявляющихся в периоды революционных изменений и за пределами таких периодов. Соотнесение с другими революциями задано уже самим применением общего термина "революция" к описанию определенных событий.

Невзирая на вышеприведенные соображения, а также на то обстоятельство, что мало кто из социологов явно принял риккертский подход (если таковые вообще существуют), можно, как мне кажется, показать, что некая существенная часть социологии действительно занимается индивидуальными случаями. Описание и объяснение таких случаев рассматривается как обладающее самостоятельной ценностью, совершенно отличной от ценности одного научного эксперимента среди других экспериментов. Сравнение и обобщение могут быть значимы, но они возникают из

[142]

детального понимания отдельных социальных явлений. Эта позиция не содержит в себе прямых критических аргументов, опровергающих ортодоксальную доктрину закона-объяснения, но она несколько отодвигает последнюю на задний план. Конечно, в антропологии индивидуальное этнографическое исследование всегда играло решающую роль. В социологии, однако, дело обстоит намного сложнее. Американские социологи первой половины нашего века немало говорили о "методе исследования случая" как об одном методе среди многих. Но за последние двадцать или чуть более лет произошла, как мне кажется, существенная перемена, выразившаяся различным образом в возрождении исторической и сравнительной социологии, а также в возникновении "феноменологической" социологии. Лучше всего это иллюстрируют изменения во взгляде на социологическую классику. Тогда как Парсонс в "Структуре социального действия" (1968) всячески подчеркивал конвергенцию "классиков" в направлении общей теории действия, которую предстояло формализовать (и даже, возможно, проверить), современные социологи, как мне кажется, скорее смотрят на теории Вебера и других не столько как на предгорья, отправляясь от которых современная научная социология достигнет великих вершин знания, сколько как на попытки, более или менее успешные, создать теории в том же жанре, в каком могли бы их создавать мы сами. К примеру, веберовские идеальные типы раньше рассматривались как предварительный набросок к реальной социологической работе по конструированию шкал, позволяющих измерять переменные; сейчас же они в большей мере воспринимаются так, как воспринимал их сам Вебер: в качестве вспомогательных средств для категоризации конкретных явлений. При этом подразумевается, что такая категоризация нередко является максимумом того, что мы можем достичь в социологическом теоретизировании. Идиографическая критика находится в близком родстве со второй альтернативой, которую я здесь обозначаю как герменевтическую, или интерпретативную. Здесь мы вновь имеем дело с давней антипозитивистской традицией, подчеркивающей необходимость рассматривать социальные явления с точки зрения участвующих в них людей. Детальное изучение "жизненного мира" действующего по меньшей мере столь же важно, как и поиск закопоподобных регулярностей, а для самых радикальных критиков первое вообще является заменой второго. Среди первых, то есть не

[143]

столь радикальных герменевтических критиков, мы находим Альфреда Шюца, который выражал обеспокоенность слишком быстрым переходом Вебера от субъективности действующих к своим собственным идеальным типам и подчеркивал, что обобщенные утверждения, скажем, нео-классической экономики или социологической теории Парсонса должны соотноситься с конкретным мировосприятием людей, которые непосредственно вовлечены в описываемые этими теориями социальные отношения. Во втором, более радикальном, лагере самой заметной фигурой был Питер Уинч, заявивший, что каузальные обобщения по сути иррелевантны действительной цели социологического исследования, которая состоит в том, чтобы понять смысл происходящего "изнутри", с точки зрения участника. Лишь постольку, поскольку мы смогли так понять какую-то "форму жизни", мы объяснили ее в том единственном смысле, в каком вообще возможно говорить об объяснении. И если программа, выдвинутая Уинчем, предполагает, что эти жизненные формы каким-то образом изолированы друг от друга, она может быть дополнена защищаемой Х.Г.Гадамером концепцией "слияния горизонтов", присущих различным перспективам, так что они приобретают некую соотнесенность друг с другом<sup>13</sup>, однако при этом не предполагается никакой возможности существования чего-то похожего на внешнюю перспективу, с точки зрения которой они подводятся под некую совокупность общих объясняющих законов.

Здесь у нас нет необходимости вдаваться в детали этой герменевтической традиции. Следует заметить, однако, что для Уинча особое значение приобретает идея членов общества, следующих правилам. Эти правила, предписываемые обществом и приобретающие интеллигентность внутри свойственной этому обществу системы верований, составляют часть жизненного мира действующих; они предписывают, как поступать правильно и как - неправильно. Именно эти правила дают в руки социологу искомые

[144]

регулярности, которые он тщетно пытался обнаружить на уровне эмпирических генерализаций, основанных на внешнем наблюдении. Простой пример: чтобы понять движение транспорта на перекрестке, нужно уяснить себе совокупность разделяемых водителями правил, состоящих из формальных систем приоритетов, а также неявных представлений водителей о том, что такое безопасная езда. Конечно, правила могут нарушаться, но в той мере, в которой они оказывают существенное влияние на поведение, последнее может быть понято лишь в соотнесении с ними.

По этому поводу нередко можно было услышать возражения, сводившиеся к тому, что Уинч придает понятию следования правилам больший вес, чем оно в принципе способно выдержать. Каков, вопрошает А.Макинтайр, правильный способ прогуливаться или закуривать сигарету? Но, как *ad nauseam*<sup>14</sup> показывает нам этнометодология, действительно можно идентифицировать правила, руководящие большей частью повседневной актин и ост и. Более серьезным, на мой взгляд, является возражение, касающееся неспособности уинчевской программы объяснить нам, почему общество обладает той системой верований и, следовательно, правилами, которыми оно действительно обладает. Правила, которым следует священник, служащий обедню, объясняются римско-католической верой, но это не объясняет, почему некоторые общества, или некоторых индивидов внутри данного общества, больше привлекает данная система верований, а не какая-то другая. Конечно, мы можем преуспеть в

идентификации системы верования высшего порядка, делающей католицизм более заслуживающим доверия, чем протестантизм или атеизм, но каковы бы ни были достоинства такого объяснения, ясно, что понятие следования правилам едва ли будет играть в нем большую роль.

Возможно, однако, существуют универсальные правила, правила рационального действия. Здесь мы сталкиваемся с третьей линией оппозиции ортодоксальной доктрине закона-объяснения (в звонкой формулировке Мартина Холлиса: "Рациональное действие объясняет само себя"<sup>15</sup>). Иными словами, мы в принципе способны адекватно описать деятеля и его (ее) обстоятельства таким образом, что определенный способ действий будет выглядеть правильным. Это дает нам модель автономного действия, в которой человек, исходя из своей природы и своих обстоятельств, рационально

[145]

выбирает способ действий. Самые выразительные иллюстрации этой модели можно обнаружить в сильно структурированных ситуациях - наподобие игры в шахматы, - но применимость модели может быть расширена, как, например, в теории игр и теории принятия решений, до куда более сложных ситуаций. Конечно, открытым остается вопрос о том, в какой мере люди действуют рационально или автономно в вышеописанном смысле, но в случаях, когда и если они действуют именно так, мы располагаем такой концепцией объяснения, которая сохраняет идею необходимости (поскольку наилучший ход с необходимостью является наилучшим ходом), но придает общим законам скорее нормативный, чем эмпирический характер.

Но дает ли эта модель какие-то объяснения на самом деле? Даже если мы примем, в сугубо дискуссионных целях, совокупность в высшей мере неправдоподобных предположений, например, что люди действительно поступают рационально большую часть времени, что для деятеля в заданной ситуации обычно существует один наилучший способ действий (или небольшое количество равно хороших способов), и что деятели и/или наблюдатели могут без помех определить, действуют ли они этим наилучшим способом, у нас получится, что избранный способ действия определяется не столько его рациональностью, сколько тем фактом, что субъективные мотивы действия обладали достаточной каузальной силой, чтобы данное действие произвести. Отсюда следует, что обо всей этой затее можно вынести следующее суждение: теории рационального выбора дают нам лишь разумные объяснения поступков, логические обоснования<sup>16</sup>, действенность которых еще требуется продемонстрировать. Но здесь оказывается, что рациональность обоснования поступка, если уж какое-то обоснование имело место, становится не так важна. Когда протестанты Макса Вебера превращают свою озабоченность спасением в некую хозяйственную этику, их поведение имеет определенный смысл, хотя весьма сомнительно, что нам захочется назвать его рациональным. Причины этого, помимо всего прочего, лежат в том, что в понятие человеческой рациональности мы обычно включаем некую идею рефлексии, которая предполагает, что мы можем реконструировать в развернутой форме всю ту последовательность рассуждений, которая привела нас к рациональному способу действий (даже если эта последовательность не рассматривалась столь явно в момент совершения действий). Но веберовские протестанты не могли бы осуществить

[146]

означенную рефлексию, не вступая в чудовищный конфликт со своими формальными

теологическими принципами. Другими словами, рациональная реакция протестантов на их ситуацию, если последняя соответствовала существующим представлениям, требовала бы, чтобы они не подвергались излишне тщательному анализу рациональные обоснования собственных действий.

Вывод из всего этого, как я полагаю, таков: хотя понятие рационального, разумного обоснования действия заслуживает самого пристального внимания в истории и прочих социальных науках, было бы непродуктивным самоограничением заранее полагать, что рациональное обоснование будет последовательным или непротиворечивым. И наоборот: нет смысла ожидать, что действительный поступок будет, по Гегелю, разумным. Как я подозреваю, для большинства практических социологических объяснений понятие самообъясняющей рациональности действия сжимается до общего понятия "следования правилам", обсуждавшегося в предыдущем разделе.

Прежде чем закрыть эту тему, мне следует особо подчеркнуть, что я вовсе не подразумевал, будто рациональность верований или действий не имеет никакого отношения к делу социологического объяснения. Последняя позиция настойчиво утверждалась в истории и социологии науки, в проти-воположность рационалистским предпосылкам, которые принимались в этой области прежде. Однако хотя социальные причины истинных верований и рациональных действий столь же нуждаются в выяснении, сколь и причины ложных верований и иррациональных действий, остается фактом то обстоятельство, что ложные или противоречивые верования потенциально неустойчивы, что люди при благоприятных обстоятельствах могут осознавать их ложность и, таким образом, могут оказываться в ситуации необходимости объяснить, почему они придерживались или продолжают придерживаться ложных верований. Конечно же, в большинстве случаев системы верований столь сложны, представляя собой структуры, состоящие из фактуальных утверждений, оценок, умозрительных определений и т.п., что нелегко вынести суждение относительно их истинности или ложности. И это, несомненно, лишь частный случай общих проблем, стоящих перед рационалистскими объяснениями: последние лучше всего работают в искусственно простых ситуациях, предлагая, чаще всего, не более чем гипотетические модели, пригодные в лучшем случае для того, чтобы прояснить наше понимание природы ситуации и альтернативных возможностей действия в ней.

[147]

Что следует из этих трех типов критики? Это зависит, конечно, от того, насколько мы готовы их принять, и свою собственную точку зрения я изложу позднее, после обсуждения реалистской критики. До этого, однако, может оказаться полезным подвести некий предварительный баланс. Все: три типа критики перемещают фокус внимания социальной теории прочь от ее несколько навязчивого интереса к обобщениям — в сторону более "традиционного", в определенном смысле, изучения конкретных явлений, под которыми могут подразумеваться и верования, и действия, и другого рода события. В своей самой сильной формулировке идиографическая и герменевтическая критика могут отвергать любые общие объясняющие пропозиции, тогда как рационалистская критика допускает последние, но лишь на периферии, в "социальном контексте" действия. Это оставляет область "общего" под контролем приверженцев ортодоксальной методологии, хотя диапазон их притязаний и подвергается некоторому ограничению. Все три вида критики косвенно принимают ортодоксальную точку зрения, утверждающую, что каузальные отношения должны быть универсальными. Именно этот

принцип, в очерченном контексте, является центральным пунктом реалистской критики, о которой я сейчас и поведу речь.

Реалистская альтернатива?

Реалистские философские доктрины имеют долгую историю, но их настоящее возрождение приходится на 70-е гг., когда позитивистская ортодоксия стала восприниматься как все более неприемлемая. Некоторое количество философов, включая такие заметные фигуры, как Ром Харре и Рой Бхаскар, внесли свой вклад в это течение в области естественных наук и попытки его расширения на область наук социальных<sup>17</sup>. Согласно реалистской концепции, наука включает в себя попытку описать реальные структуры, сущности и процессы, составляющие универсум и существующие независимо от нашего описания. Для многих реалистов каузальные утверждения и, следовательно, законы должны анализироваться в терминах тенденций, возникающих из каузальных способностей сущностей,

[148]

структур и механизмов. Чтобы проиллюстрировать эту концепцию, мы снова вернемся к Мольеру и "снотворной силе" опиума. С реалистской точки зрения, в этом объяснении нет ничего фундаментально ошибочного, если оно получает нетривиальное наполнение. Для этого нам нужно именно то, что могут дать такие современные науки, как химия, физиология и фармакология, а именно - анализ химических свойств опиума и его воздействия на нервную систему. На индивидуальном уровне это воздействие будет, конечно, варьировать, но его характер останется достаточно общим, для того чтобы имело смысл говорить о законоподобной тенденции. Реалисты жертвуют регулярностью в научных законах ради их укоренения в реальных действующих механизмах, которые могут произвести либо не произвести наблюдаемые результаты. Все это потому, что мир состоит из "открытых систем", в которых в любой данный момент времени задействовано множество каузальных механизмов. Светильник у меня под потолком, например, разделяет общую для всех тяжелых объектов тенденцию падать на землю, однако эта возможность предотвращается с помощью крепежного устройства, фиксирующего светильник под потолком. Но продолжающееся (я надеюсь) отсутствие каких-либо наблюдаемых движений не означает, что эти силы и сопротивления не задействованы ежеминутно.

Эмпирическое возражение по поводу такого анализа будет, конечно, указывать на то, что он включает в себя ссылки на ненаблюдаемые сущности и, следовательно, выходит за пределы нашего непосредственного опыта. Стоит нам это сделать, и путь открыт для любого рода произвольных утверждений, как в случае, если я стану утверждать, что Господь послал меня на работу в университет нынче утром, а сейчас отправит меня готовить ужин. Но реалисты подчеркивают, что задача науки как раз и заключается в том, чтобы продемонстрировать существование неочевидных детерминант наблюдаемых событий. Наука решает эту задачу либо делая эти детерминанты наблюдаемыми, либо, что более важно, изолируя их причинные эффекты в эксперименте. Вирусы, например, имели поначалу статус гипотезы, созданной для объяснения инфекционных процессов, не связанных с бактериями. Сейчас в их существовании никто не сомневается, и их можно даже наблюдать с помощью электронного микроскопа.

В случае социальных наук одно явное преимущество реализма заключается, таким образом, в том, что он настаивает на универсальности общественных законов. Все, что нам нужно, это чтобы они репрезентировали

[149]

узнаваемые тенденции. Следующее преимущество заключается в том, что реализм устанавливает более тесную взаимосвязь между причинностью в природном мире и человеческой деятельностью. Потому что среди вещей, обладающих возможностями и склонностями, есть, разумеется и человеческие существа, решившие использовать свои возможности определенными способами. С другой стороны, конечно, намного сложнее точно определить сущности, используемые в социальных объяснениях, и в этом смысле страх перед сползанием в метафизику здесь куда более обоснован. Бессознательное Фрейда, например, если оно существует, является собой превосходный пример реальной структуры, производящей широкий диапазон наблюдаемых эффектов: от оговорок через сновидения к неврозам. Но нельзя найти никакого удовлетворительного способа определить, существует ли оно, свидетельством чему являются нескончаемые и лишённые всякой логики битвы между фрейдистами и антифрейдистами.

Позволю себе рассмотреть затронутый вопрос более детально. Как мы только что видели, реалистское объяснение законов опирается скорее на производящие механизмы, а не на регулярности. "Ссылка на закон предполагает утверждение о том, что задействованы некие механизмы, не говорящие, однако, об условиях, при которых эти механизмы работают, и, следовательно, о конкретном результате, имеющем место в каждом частном случае"<sup>18</sup>. Иными словами, альтернативная точка зрения, которая рассматривает постоянную смежность событий как необходимое, или необходимое и достаточное, условие для формулировки законоподобных суждений, путает законы с их следствиями - следствиями, имеющими место в довольно специальных условиях, когда действию закона не препятствуют никакие противоположные или усложняющие тенденции, то есть когда закон действует в "закрытой системе". Именно поэтому эксперименты в естественных науках происходят в форме создания закрытых систем, например, создания вакуума для устранения эффектов влияния атмосферы на изучаемые процессы.

Закрытые системы, таким образом, позволяют однозначно идентифицировать специфические причинные механизмы и эффекты их взаимодействия. В результате, они создают возможность точных предсказаний. Нет нужды обсуждать здесь подробности, поскольку ясно, что в области общественных наук закрытых систем не существует. Следовательно, невозможно

[150]

ожидать от этих наук чего-то большего, чем в высшей мере условные и неточные предсказания относительно изучаемого ими предмета. Это объясняет, почему социологи смогли извлечь столь мало пользы из ортодоксальной доктрины закона-объяснения, утверждавшей полную симметрию между объяснением и предсказанием, причем последняя выводилась из того, что и объяснение, и предсказание основаны на общем охватывающем законе. Забудем, однако, на время о предсказаниях, и взглянем пристальнее в объяснение. Здесь, возможно, полезным будет анализ взаимоотношений между социальной наукой и метеорологией. Прогнозы погоды, подобно социальным прогнозам, не вполне надежны. Причина этого проясняется при проведении различий между закрытыми и открытыми системами: погодные системы, особенно в областях вроде Британских островов, крайне сложны и непредсказуемы. Но метеорология основана на совокупности очень изолированных и

точных физических законов, и при всех сложностях с предсказанием, она может дать исчерпывающе полное и удовлетворительное объяснение картины погоды после того, как события произошли. Трагедия метеоролога, разумеется, состоит в том, что такие объяснения не представляют для нас особого интереса.

Однако в случае социальных наук трудно добиться сходной степени определенности в объяснении или даже просто в идентификации элементов возможного объяснения. Другими словами, ключевой является не проблема методологии, а проблема онтологии: социологи не могут достичь согласия относительно того, из каких сущностей, элементарных объектов состоит социальный мир и как они соотносятся друг с другом. Естественные науки, конечно, тоже не имеют абсолютно устоявшегося списка объектов, но в этом случае споры чаще касаются существования какого-то конкретного объекта, например, "новой" элементарной частицы. Но даже самые драматичные открытия ядерной физики едва ли изменяют наши объяснения того, что происходит на макроскопическом уровне, скажем, на уровне химической реакции в пробирке, хотя они могут заставить нас переформулировать наше объяснение тех физических процессов, которые лежат в основе химических изменений.

В социальных науках все элементарные объекты в принципе могут быть оспорены в любой данный момент времени. Понятие класса - хороший тому пример. Одно из самых фундаментальных понятий марксистской и немарксистской социальной теории некоторыми теоретиками полностью

[151]

отвергается, те же, кто принимают его, определяют само понятие радикально иным способом. В примере с бессознательным, который обсуждался выше, снова имеют место внутренние разногласия относительно его природы и проявлений и внешний диспут о том, существует ли оно вообще.

Урок здесь, как я полагаю, заключается в том, что социальные теоретики должны, избегать ловушки, обозначенной А.Н.Уайтхедом как "ошибка смещенной конкретности". Мы очень быстро усваиваем, что социальный класс - например, французскую мелкую буржуазию, - нельзя наблюдать непосредственно, как, скажем, школьный класс. И дело здесь не в том, что он слишком велик для прямого наблюдения. Диапазон этого понятия не задан точно, как бы мы ни старались конкретизировать его, в том же смысле, в каком число людей, имеющих французское удостоверение личности, является определенной, хотя и неизвестной величиной. "Французская мелкая буржуазия" - это термин теории, введенный потому, что он позволяет значимым с причинной точки зрения образом отделить множество людей, имеющих определенные и отличные от других условия жизни, от членов других классов.

Отсылка к причинности и, следовательно, к объяснению здесь принципиально важна. Мы демонстрируем существование объектов либо с помощью наблюдения (прямого или косвенного), либо с помощью процесса логического вывода, который иногда называют ретродикцией<sup>19</sup>. Здесь доказательство принимает следующую базисную форму:

1) Произошло, существует В.

2) А, если бы оно существовало, объяснило бы В посредством какого-то уже известного или правдоподобно предполагаемого механизма М.

3) Насколько нам известно, не существует правдоподобных альтернатив А.

4) Следовательно, А, вероятно, послужило причиной В. Именно так, в основных чертах, были открыты вирусы. Сначала их существование было постулировано на основании

каузального критерия и лишь затем доказано посредством наблюдения.

[152]

Я надеюсь, что дальнейшее изложение сделает ясным, почему не сто-ит ожидать подобной степени точности в социальных науках. Во-первых, как мы уже видели, в социальных науках сущности, схватываемые основ-ными понятиями, не являются наблюдаемыми; эти понятия с необходимо-стью теоретичны. Однако они теоретичны еще и в другом, более важном, смысле: схватываемые ими сущности - это сущности второго порядка. Это те структуры, которые управляют человеческой деятельностью и, в свою очередь, воспроизводятся действиями людей. В этом неоспоримый остаток истин социологического индивидуализма: тезис о том, что конечными объек-тами изучения в социальных науках являются индивиды и их действия. Но этот тезис, как будет вскоре показано, нуждается в очень существен-ных поправках. Прежде, однако, я должен уточнить, что я подразумеваю иод реалистским объяснением в социальных науках. Полезным является различие между реализмом относительно науч-ных теорий и реализмом относительно сущностей<sup>20</sup>. Для первого тезиса наиболее адекватной является следующая формулировка: теории - это по-пытки описать и объяснить реальность, существующую независимо от них, и успешность такой попытки определяет оценку теории. Если сформули-ровать это несколько огрубленно: истинные теории утверждают именно то, что и имеет место на самом деле. Реализм относительно сущностей просто утверждает, что некоторая вещь (вещи) существует (-ют). В боль-шинстве случаев оба реализма принимаются одновременно: теории утвер-ждают или предполагают существование объектов. И наоборот, многие объекты известны только из одной или нескольких теорий. Часто, однако, ведущую роль играет один из реализмов. Мы можем быть сильно привер-жены какой-то теории и все же сомневаться в существовании предполага-емых ею объектов. Это нередко случается в физике. Случается и обратная ситуация: мы можем колебимо верить в существование некой сущности, но сомневаться в том, как следует описывать ее природу в теории. Сейчас я хочу доказать, что сущности, обозначаемые объяснительны-ми понятиями социальных наук (класс, идеология, эксплуата-ция, соци-альная структура и т.п.) вдвойне относятся к первой категории. Иными словами, термины не имеют никакого прямого референта вне зависимости от теорий или теории, использующих эти термины.

Усложняющая дело

[153]

особенность социальной теории заключается в том, что она куда более прямо и тесно связана с обыденными, "народными", основанными на здра-вом смысле теориями, чем продвинутое теоретизирование в естественных науках. Как справедливо подчеркивали социологи, подобные Зиммелю и Шюцу, теоретические конструкторы социальных наук - это конструкторы вто-рого порядка, основанные на конструкторах, задействованных в самой соци-альной жизни. Человеческие особи - это мыслящие животные; существова-ние взаимоотношений между ними предполагает, что они обладают какой-то концепцией этих отношений. Даже бихевиористские теории не столько отрицают это, сколько отмечают в сторону, как не имеющее отношения к делу обстоятельство (ценой невозможности дать согласованное объясне-ние использования, к примеру, языка). Понятия социальной теории, та-ким образом, теоретичны на двух уровнях: во-первых, подобно понятиям естественных наук, на уровне научной практики, и, во-вторых, на уровне собственных теорий действующих относительно того, что они делают.

Различение теоретических и обсервационных терминов, понятий, сущностей и т.п. служило фетишем эмпиристских философий науки, и в мои намерения не входит увековечивать этот фетишизм. С точки зрения реалистов, эмпиризм ошибался, пытаюсь найти чистый язык наблюдения и относительно подозрительно ко всем ненаблюдаемым, "теоретическим" сущностям. Но принятие реалистской философии науки не подразумевает реализма относительно любой конкретной сущности внутри науки. И в социальных науках реалистская концепция теории должна привлечь во внимание особый способ существования социальных фактов, их онтологическую зависимость от человеческих действий и от представлений людей о том, как они действуют. Это означает, что понимание формы жизни должно занять место операций эксперимента и измерения, делающих достижимыми для нас те сущности, которые описывают науки естественные. Вывод здесь таков: реалистская концепция теории в социальных науках не может опираться на примитивный реализм, касающийся определенных сущностей. Она должна основываться на тех возможностях объяснения, которые присущи самим теориям.

Некоторые авторы развивают этот тезис значительно дальше, выходя за пределы того, с чем я готов согласиться. Пьер Бурдьё, например, [154]

доказывает, что любое "научное исследование" должно предваряться ритуальным уточнением: "Все происходит так, как если бы..."<sup>21</sup>. С довольно отличных от Бурдьё позиций критической теории Норман Стокман атакует "...реалистское предположение о том, что теоретические понятия общественных наук соотносены с "объектами теории" тем же способом, что и понятия естественных наук. Но рефлексивность обыденного языка, с которым неразрывно связаны понятия социальных наук, делает невозможной формулировку общепризнанных и дающих возможность однозначной демонстрации критериев для определения референтов теоретических понятий"<sup>22</sup>.

Не углубляясь в детали, с моей точки зрения, упомянутые авторы преувеличивают существующие различия. Раз уж мы признали особый характер теоретизирования в социальных науках, ничто теперь не мешает нам увидеть, что они, в конце концов, смогли разработать некоторое количество теоретических и объяснительных конструкций, которые обладают значительной ценностью, будучи основаны на пусть и предварительном, но вполне широком по масштабу обобщении понимания социальных структур и механизмов. Это можно проиллюстрировать в терминах реалистского понятия каузальных возможностей: многие имеющиеся у людей возможности причинного влияния на события поддаются пониманию лишь в контексте социальных структур, в которых люди участвуют. Я могу без всякой посторонней помощи дотронуться до кончика собственного носа, но мне не удастся в одиночку сделать телефонный звонок, выдать чек, присвоить ученую степень или объявить войну. Аналогичным образом, мотивы, по которым я выписываю чек, отличны от мотивов существования банковской системы.

Позвольте мне несколько конкретизировать эту концепцию посредством критического анализа редукционистской программы, известной как "методологический индивидуализм". Эта программа утверждает, что наиболее фундаментальные, "исходные" социологические объяснения должны формулироваться в терминах индивидуального действия. Этот принцип, как мы уже видели, играет существенную роль в микроэкономической теории, в веберовской социологии и в более недавних

феноменологической и этнометодологической исследовательских программах в области социологии и социальной психологии. По сути, все эти программы смешивают [155]

один аспект сложного процесса с процессом в целом. Курс обмена валют в рыночной системе, где разрешены его колебания, есть результат множества индивидуальных транзакций, в которые вовлечены разнообразные деятели-акторы - от частных лиц до центральных банков. Сейчас представляется тривиально истинным то обстоятельство, что действия, скажем, Английского банка, покупающего фунты стерлингов в целях поддержания курса, осуществляются каким-то уполномоченным индивидом, посылающим телекс или делающим телефонный звонок, но все это не имеет никакого практического значения для объяснения действий Банка. Только фетишизация непосредственно наблюдаемого могла бы заставить нас утверждать, что "именно здесь (в поступках индивида) реализуется социальное действие".

Самыми интересными действительно являются случаи, когда мы сталкиваемся с необходимостью "развернуть" сложное социальное действие и проанализировать решения индивидуальных деятелей. Рассмотрим, например, случай классовой, этнической или половой дискриминации в сфере занятости. Если уж мы обнаружили резкие диспропорции в представленности женщин или этнических меньшинств на некоторых рабочих местах, мы захотим узнать, как осуществляется процесс дискриминации. И снова тривиально верным будет утверждение, что он происходит в форме принятия работодателями решений о найме либо отказе нанимать конкретных индивидов (или категории индивидов). Однако то, в какой мере такие решения объясняют процесс дискриминации, будет решающим образом зависеть от другой особенности ситуации, а именно - осуществляют ли работодатели дискриминацию *ad hoc* или из принципа применительно к кандидатам с одинаковой квалификацией (и в последнем случае, основывают ли они этот принцип на собственных предрассудках или предрассудках, которые они приписывают своим сотрудникам, покупателям и т.п.); либо же общественное распределение квалификационных ресурсов таково, что оно мало отличается от результатов прямого выбора между равно-квалифицированными представителями среднего класса и рабочих, черными и белыми, кандидатами мужского и женского пола. В последней ситуации объяснение наблюдаемых диспропорций потребует еще более углубленного анализа, учитывающего структуру образовательной системы и т.д. Иначе говоря, оправданность преимущественного интереса к индивидуальным действиям и решениям будет зависеть от структурных

[156]

особенностей ситуации. Разумеется, она будет зависеть также от природы нашего интеллектуального интереса: некоторые социологи интересуются преимущественно микропроцессами и в общем, и в частном случае, - тогда как другие заинтересованы в макроисследованиях. Следует, однако, совершенно ясно заявить, что здесь нет никаких оснований для того, чтобы раз и навсегда избрать либо микро-, либо макроподход. Этот же аргумент, касающийся уровня, на котором дается объяснение, применим и к "классическому диспуту" между поборниками "объяснения" или "понимания". Поиск естественнонаучных законов, управляющих жизнью общества, подвергнутый формализации в ортодоксальной доктрине закона-объяснения, вынуждал социологию и другие общественные науки стремиться к нереалистическому идеалу социальной теории и объяснения. Принимая его, социологи неверно трактовали свою собственную практику

и классическую социологическую теорию. С другой стороны, ортодоксальная доктрина породила оппозиционное движение, столь же одностороннее в своей привязанности к альтернативам идиографического объяснения, понимания и описания. Отказавшись от ортодоксии, мы можем прийти к более адекватному осознанию того места, которое могли бы занять в социологии и других науках об обществе описание, герменевтическое понимание, а также объяснение.

[157]